

ИЛЬЯ КАЛИНИН

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР — СПАСШИЙСЯ

ЧАСТЬ II

18+

Илья Калинин

Виктор - спасшийся. Часть II

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор - спасшийся. Часть II / И. Калинин — «Автор», 2026

Виктор Скорев уплыл на юг, всем сказав, что уходит на север. Ему пятьдесят три, при нём десять золотых, чужой выговор и вещь на левой руке, о которой на этой планете не знает никто: включённая, она убивает всякого, кто коснётся, — мгновенно и без следа. Юг встречает его жарой, в которой не спрячешь рук, и портом двадцати языков, где яда боятся сильнее мора. Здесь всякую внезапную смерть считают отравлением, а отравителей жгут на площади. Но свидетель, оставленный живым на севере, переплывает за Виктором море, и старик выводит новое правило: тех, кто знает его по кусочку, за спиной не оставлять. Меняльный ряд, дорога паломников, война двух братьев, город, запертый мором на сорок дней, — он выбирает места, где смерть прячется лучше всего. А по его следу идёт счётчик торгового дома, который не верит в колдовство, не боится мора и умеет сшивать чужие города в одну карту. Он ищет отравителя — и ошибается только в одном. Вторая книга цикла «Виктор — спасшийся».

© Калинин И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Борт	5
Глава 2. Пояс	10
Глава 3. Ровный счёт	15
Глава 4. Жара	19
Глава 5. Меняла	23
Глава 6. Немой	27
Глава 7. Старое ремесло	31
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Илья Калинин

Виктор - спасшийся. Часть II

Глава 1. Борт

Первые три дня мы шли рекой, и все три дня я помнил, что с реки ещё можно уйти.

Берега стояли близко. По левому тянулись выкошенные луга и деревни, по правому стоял лес, тёмный и мокрый, и судно шло вниз по течению медленно, под одним парусом, а когда ветер падал, его толкали шестами. Захоти я сойти, я сошёл бы вброд, и никто бы меня не держал. Я не собирался сходить. Но я держал эту возможность в уме, как держат в уме запасной выход в незнакомом доме, и, куда она была, спал почти спокойно.

На третий день к вечеру река разошлась так, что берегов не стало видно, вода сделалась бурой, потом солоноватой, и мы встали на ночь у пристани в устье. Там был город, длинный и низкий, весь из складов, причалов и бочек, и корабельщик ушёл на берег до утра, а нам, кто плыл дальше, сходить не велел.

— Кто сойдёт, того ждать не станем, — сказал он. — Ищи потом свои две золотые.

Утром мы вышли в море.

И с того утра выхода у меня не было.

Судно было широкое и пузатое, о двух мачтах, шагов сорока в длину и двенадцати в ширину, с высокой кормой, где жил корабельщик, и низким носом, где спала команда. Посередине, под палубой, был трюм, набитый кожами и воском. Я обошёл его в первый же день, как обхожу всякое место, где мне жить, и обходил недолго: всё, что было у меня теперь вместо города, умещалось в сорок шагов. Ни один человек на этом судне не мог отойти от прочих дальше, и так было на шесть недель вперёд.

Нас было тридцать с лишним душ.

Два десятка — команда: корабельщик, кормчий, плотник, кашевар и матросы. Прочие были попутчики вроде меня. Трое северных торговцев, плывших при своём товаре. Двое приказчиков какого-то купеческого дома, оба молодые, оба при бумагах. Двое братьев, плывших наниматься на южные суда. Человек с кашлем, ехавший, по его словам, умирать в тепле. И я.

Спали мы, попутчики, внизу, в передней части трюма, где между тюками кож оставили проход шагов в двадцать длиной и в два шириной. Там было темно, душно и тесно, кожи воняли так, что в первую ночь я не уснул вовсе, а сверху, через щели в палубе, капало, когда матросы скатывали её водой. Ложились вплотную, как в обозе, и через ноги переступали всю ночь.

Кольцо моё было погашено с первого вечера на реке.

Я решил это ещё на берегу и решения не менял. Включить его среди тридцати человек, которые спят вповалку в одной тёмной щели, значило убить к утру первого, кто повернётся во сне не в ту сторону. А мёртвый в трюме у моих ног был бы для меня хуже ножа. Так что я спал как все: на левом боку, левую руку под себя, правую вверх, — старая обозная заслонка, которая не защищает ни от чего, кроме собственного страха.

Первые дни в море меня выворачивало.

Тридцать с лишним лет я провёл на кораблях, ходил дальше, чем всякий человек на этой планете может вообразить, и ни разу в жизни не видел волны. На моих кораблях не качало. А тут судно переваливалось с боку на бок, как пьяный, днём и ночью, и на третий день я лежал на кожах, не в силах поднять голову, и меня рвало в ведро, которое кашевар ставил на всех.

Матросы смеялись, но смеялись беззлобно, потому что так было со всеми, кто шёл впервые. Один сказал, что старик, видать, всю жизнь просидел на суше.

Я сказал, что так и есть.

Это была лучшая ложь, какую я тогда мог сказать, потому что она сходилась со всем остальным: счётчик, всю жизнь просидевший при мешках внизу. Тот, кто сидел при мешках, моря не видит, даже если плавает по нему годами. А что его рвёт, так это и вовсе лучшее подтверждение.

К пятому дню я отлежался и стал смотреть.

Смотреть мне было не на что, кроме моря и людей, и я смотрел на то и на другое. Море было серое, потом зелёное, потом, когда мы ушли южнее, синее, и берег всё время стоял слева, то ближе, то дальше. От берега кормчий не отходил: ночью мы вставали на якорь в бухтах, днём шли так, чтобы видеть землю. Дорогу он держал по мысам и горам, которые знал, по солнцу и по звёздам, и держал хорошо.

Я, разумеется, считал.

Я не мог не считать: на что ни поглядишь, всё само раскладывается на расстояния, скорости и часы. По солнцу и по тому, как уходили назад мысы, выходило, что мы делаем в хороший день вёрст семьдесят или восемьдесят, а в плохой не делаем ничего. Кормчий тоже это знал, но знал не числом, а чутьём, как знает дорогу старая лошадь.

И ни разу за шесть недель я не сказал вслух ни одного числа. Сиделец при мешках, который знает, сколько вёрст судно прошло от полудня до полудня, — это уже не сиделец. На корабле все на виду, и на сорока шагах нельзя быть удивительным.

Кормили нас сухарями, солёной рыбой, горохом и раз в три дня солониной. Воду пили из бочек, и к концу второй недели она протухла и зацвела, и пить её можно было, только зажмурившись.

Я пил её, как все.

И впервые за три года подумал о воде без страха. Яда я боялся всегда и всюду: оттого и не пил хмельного, оттого и ел в разных местах. А тут бочка была одна на тридцать человек, и черпали из неё все одной кружкой. Отравить в ней меня одного было нельзя, не отравив и всех прочих. Общая бочка оказалась единственным местом в этом мире, где я мог пить спокойно.

На пятый день в море помер человек с кашлем.

Он кашлял все ночи, и все ночи на него ругались, а под утро пятого дня кашлять перестал, и сосед толкнул его ногой, и он не отозвался. Его вытащили наверх. Корабельщик поглядел на него, сплюнул и велел плотнику принести старый парус. Покойника зашили в парус, сунули в ноги камень из балласта, корабельщик сказал несколько слов про море и про бога, и двое матросов подняли его и перевалили через борт.

И всё.

Я стоял в толпе и смотрел на воду, куда он ушёл, и вода сомкнулась над ним так быстро, как будто его там никогда не было. А потом я поглядел на людей вокруг, и они уже расходились: кто к снастям, кто к каше. Никто не спросил, отчего он умер. Никто не стал его осматривать, не стал искать на нём раны, не стал вспоминать, с кем он вчера бранился и кто подавал ему воду.

На суше всякий мёртвый — это вопрос. Его кладут на землю, вокруг него собираются, на него смотрят, его трогают, о нём говорят неделю. Мёртвый без раны на суше — это вопрос вдвойне, и за три года я научился бояться этого вопроса больше всякого другого.

А море не спрашивает ничего. Оно берёт, смыкается, и через час на палубе говорят уже о ветре.

Море прощает ту смерть, которую суша станет расследовать.

Я запомнил это и отложил, как откладываю всё, что может пригодиться.

На второй неделе я узнал, кто такие те двое, о которых говорил корабельщик.

Они называли себя сами, и называли в первый же тихий вечер, когда мы стояли на якорю в бухте и команда сидела на палубе у бочки с водой, а попутчики рядом, потому что внизу было не продохнуть.

Первым был Сом.

Это было прозвище, а не имя: старик с длинными седыми усами, весь коричневый и сухой, будто его вялили, без двух пальцев на левой руке. Он ходил на судах лет сорок и дважды тонул, и про это его и спросили молодые, которые знали, что он расскажет.

Рассказывал он плохо.

Он говорил негромко и с долгими перерывами, и половины того, о чём его спрашивали, не знал.

— Ночью ударило, — сказал он. — Я внизу спал. Как наверх вылез — не помню. Помню, вода уже на палубе была и тёплая почему-то, тёплая, как в корыте. Потом доску помню. Держался за доску. Сколько держался — не скажу. Может, ночь, может, две.

— А корабль-то как пошёл? — спросил кто-то. — Сразу?

— Не видал, — сказал Сом. — Темно было.

— А другие?

— Откуда мне знать. Меня вынесло — я и не видал никого. После говорили, ещё двоих вынесло, а я их и в глаза не видал.

— А собака? — спросил молодой матрос, который, видно, слышал эту историю раньше. — Ты про собаку расскажи.

— Собака, — сказал Сом, и в первый раз за весь рассказ лицо у него переменялось. — Собака плыла рядом. Корабельная собака, рыжая. Всю ночь плыла рядом с доской, а на доску не лезла. Я ей кричал. А уторм её не было.

И замолчал, и больше в тот вечер ничего не рассказывал.

Я сидел у борта и слушал так, как не слушал никого за все эти годы.

Потому что это была правда, и я слышал, как она звучит.

Правда была вся в дырах. Он не помнил главного: как выбрался, сколько держался, как пошёл корабль, кто ещё спасся. А помнил ненужное: тёплую воду, рыжую собаку, которая не лезла на доску. Никто, сочиняя, не стал бы сочинять собаку, которая ни к чему не ведёт. И никто, сочиняя, не оставил бы пустым то, о чём спрашивают первым делом.

Правда держит ненужное и теряет нужное. Ложь держит только нужное.

Я перебрал в уме свою собственную легенду, которую рассказывал три года, и сверил её с рассказом Сомы, как сверяют две описи. И нашёл, что она устроена так же: вся в дырах, на всякий вопрос — не помню, не видел, был внизу. Только в моей не было собаки. Ненужного в ней не было ничего, потому что всё ненужное я из неё в своё время вынул, оставив голый остов.

Добавлять я ничего не стал. Первое моё правило — не сочинять сверх необходимого — стояло твёрдо. Но отметил, что вдумчивого человека, если такой когда-нибудь меня спросит, голый остов не обманет.

Вторым был Чайка.

Это тоже было прозвище: молодой матрос, лет двадцати пяти, тощий, чёрный от солнца и чёрный волосом, быстрый, громкий, всегда при деле и всегда при разговоре. Родом он был, по его же словам, с юга, из того самого города, куда мы шли, и ходил на северных судах третий год.

И он тоже тонул, и тоже рассказывал.

Рассказывал он хорошо.

Он говорил громко, с руками, с лицами, и всё у него было на месте: как называлось судно, и кто на нём был корабельщиком, и что везли, и в каком месте у Каменных островов они налетели на камень, и как трещала обшивка, и сколько их спаслось — трое, и как их звали, и что они ели на берегу. Его слушали охотно, потому что слушать его было весело, а Сомы — тяжело.

Я слушал его так же внимательно, как Сомы.

Через неделю он рассказывал эту историю снова, другим людям, на другой стоянке.

И у Каменных островов они уже не налетели на камень, а у них сломалась мачта, и судно опрокинулось. И спаслось их уже пятеро. И судно называлось так же, а корабельщика звали иначе.

Никто, кроме меня, этого не заметил, потому что никто, кроме меня, не слушал обе истории так, как слушают две ведомости, которые обязаны сойтись.

Я сидел и раскладывал это, глядя на воду.

Человек, который помнит, не меняет того, что помнит. Он может забыть, может спутать неважное, но главное лежит в нём одинаково всякий раз, потому что оно было. А этот не вспоминал, а сочинял, и сочинял заново всякий раз, когда рассказывал, и потому выходило по-разному. Он затыкал все дыры, какие видел, и затыкал щедро, с подробностями, — ровно то, чего моё второе правило велит не делать никогда.

Стало быть, никакого крушения у него не было, а было что-то другое, о чём рассказывать нельзя, и крушение стоит у него на месте этого другого, как заплатка на дыре.

Кто так врёт про своё крушение, тому есть что прятать за этим крушением.

Вывод этот я сделал не из любопытства. Мне не было дела до того, что прячет чужой человек. Мне было дело до того, что на этом судне есть человек, который умеет и любит врать, а значит, умеет и всё прочее, что обычно ходит вместе с враньём.

А потом я заметил, что Чайка всегда при Быке.

Бык был тоже матрос: здоровый, плотный, с короткой шеей и глазами снулой рыбы, молчаливый так, что за неделю я не слышал от него и двадцати слов. Он ходил за Чайкой, как ходит за хозяином пёс: Чайка говорит — Бык стоит рядом, Чайка работает — Бык работает с ним, Чайка смеётся — Бык смотрит. Делал он всё, что тот скажет, и ничего сверх.

И ещё я заметил, что Чайка смотрит на меня.

Не часто, но смотрел, и смотрел так, как смотрел когда-то парень у ворот первого города, — без злобы, по привычке, как смотрят на товар.

Смотреть было на что. Мы шли на юг, и с каждым днём становилось теплее, а на третьей неделе стало жарко даже по ночам. Матросы ходили по палубе голые по пояс, в полдень обливались забортной водой из вёдер, и попутчики вслед за ними тоже снимали рубахи. А старик в суконном платье с длинными рукавами сидел у борта как был, рукавов не закатывал, пояса не снимал и не мылся ни разу, кроме лица и шеи.

Я и не мог иначе. Голым по пояс я не простоял бы и минуты: всякий увидел бы, что у меня на левой руке. А пояс был такой же частью меня, как сама рука.

Чайка подсел ко мне на одной из стоянок и спросил, правда ли, что я тоже с потонувшего.

Я сказал, что правда.

— Ну, расскажи, отец, — сказал он весело. — Как спасся-то?

Я сказал, как говорил всегда: был внизу, при записях, корабль потонул далеко отсюда, я один выплыл, а как — не помню.

— Не помнишь? — сказал он и засмеялся. — Ну ты совсем как Сом. Тот тоже ничего не помнит.

И отошёл.

А я посидел и подумал, что смеялся он не над моим рассказом, а над тем, что рассказ этот пришёлся рядом с рассказом Сома, и что, стало быть, он их сравнивал. А кто сравнивает, тот считает. Только считает он, надо думать, не то, что я, а другое: не дыры в рассказе, а то, что под суконным платьем.

Я ничего не стал делать. Делать на сорока шагах было нечего, и всякое действие было бы заметнее бездействия. Я только перешил ночью пояс плотнее, чтобы монеты не прощупывались, и с тех пор, ложась, клал правую руку не поверх левой, а на живот.

В портах, куда мы заходили за водой, корабельщик всякий раз пересчитывал нас по своему списку. Он стоял у сходней с дощечкой, на которой были записаны все, кто плыл, и выкли-

кал по именам, а мы отзывались, чтобы он знал, что никто не сбежал и никого не оставили. Выкликал он и меня, и я отзывался. И всякий раз, отзываясь, я думал, что моё имя, записанное его рукой, едет вместе со мной в его ящике на корме, и что это единственная бумага на свете, где я записан сам, а не мои мешки.

Тут ничего нельзя было поделать, и я перестал об этом думать.

Мы шли дальше, заходили в порты, брали воду и снова уходили, и дни были одинаковые, как монеты одной чеканки.

А в одну из ночей на третьей неделе я проснулся оттого, что на мне чужая рука.

Она лежала у меня на поясе, сбоку, и лежала легко, почти не давя, и пальцы её медленно шли вдоль, как идут пальцы по ошупь в темноте, пересчитывая. Было так темно, что я не видел даже своих колен. Сверху, через щель в палубе, светила одна звезда.

Я шевельнулся.

И рука ушла — сразу, без спешки, как уходит вода в песок, — и между тюками кто-то тихо перевалился и затих, и больше я не услышал ничего, кроме храпа и скрипа обшивки.

До утра я так и не уснул.

Глава 2. Пояс

Утром я сидел у борта и повторял про себя то, что сказал себе ещё на берегу, собираясь в дорогу.

Спящего среди чужих убивают за пояс, и это дело случая.

Тогда, на берегу, я считал, что этот случай мне по карману. Шесть недель, тридцать человек, и кому придёт в голову, что у старика в сукне под поясом что-нибудь есть. А теперь кому-то пришлось. Случай перестал быть случаем и сделался человеком, который ночью пересчитал мои монеты пальцами и, стало быть, знает теперь, что их стоит взять.

Я не видел, чья это была рука. Но видеть было и не нужно.

Я перебрал всех, кто спал в трюме, как перебирают ящики на складе, по одному. Торговцы спали над своим товаром и боялись за него больше, чем хотели чужого. Приказчики были при бумагах и при хозяйском слове, им не было расчёта. Братья, плывшие наниматься, были простые и шумные, и за три недели ни разу не поглядели на меня дольше, чем глядят на бочку. Матросы спали на носу, но ходили через трюм всякую ночь, и ходили все.

А смотрел на меня один.

И при этом одном всегда был второй, здоровый, молчаливый и делающий то, что ему скажут.

Дальше я стал считать, как они это сделают, потому что как — важнее, чем кто.

Снять пояс со спящего нельзя: пояс зашит, затянут и лежит на живом теле, и всякий, кто станет его снимать, разбудит. Разбуженный закричит. Обокрасть меня тихо, стало быть, не выйдет. А обокрасть громко на судне, где сорок шагов от носа до кормы, — значит, на другое утро стоять перед корабельщиком, который вешает за воровство у попутчиков, это все знали, и вешает на рее, без суда, потому что на море суда нет, а есть он.

Значит, брать пояс будут не у спящего, а у мёртвого.

Старик ночью полез наверх по нужде, в качку, и его смыло. Это говорят на всяком судне всякий год, и никто не удивляется. А чтобы смыло, нужна качка, и нужна ночь, когда на палубе не до попутчиков.

И нужно, чтобы это было ближе к концу пути. Сделать это сейчас значило бы ещё три недели сидеть на одной палубе с теми, кто видел, как старик пропал, и ждать, не спросит ли кто чего. А сделать перед самым приходом значило сойти на берег через день или два, с поясом за пазухой, в своём городе, где тебя знает каждый переулок.

Чайка был родом из того города, куда мы шли.

Вот и весь мой счёт. Я сложил его к полудню и до вечера проверял, не ошибся ли, и не нашёл ошибки.

Оставалось решить, что делать мне.

Пожаловаться корабельщику я не мог. Пожаловаться значило рассказать, что у меня в поясе есть что брать, — и рассказать при всех, потому что на судне всё говорится при всех. Тот, кого я назову, скажет, что старик спятил, и докажи ему. А назавтра о моём поясе будут знать тридцать человек, и любой из них вспомнит об этом в первую же бурную ночь.

Отдать золото на сохранение тому же корабельщику я тоже не мог. Корабельщик был человек как все, а десять золотых — деньги, за которые и честный человек, бывает, перестаёт быть честным. К тому же отданное на сохранение записывают, а мне довольно было и одной записи, где стоит моё имя.

Спрятать пояс в трюме, среди тюков, было бы ещё глупее: трюм знают матросы, а не я.

Драться я не умел и не хотел, а против двоих не сумел бы, даже если б хотел.

Оставалось кольцо.

А кольцу нужно было место, где никто не ляжет рядом.

Я стал искать такое место, и на судне в сорок шагов это заняло у меня два дня.

Наверху его не было. С тех пор как стало жарко, попутчики почти все перебрались спать на палубу, под натянутый парус, и лежали там вперемишку с матросами, а ночью по палубе ходили вахтенные и всякий, кому приспичит. Внизу, в проходе между тюками, стало свободнее, но проход был узкий и через него ходили на нос.

А в самом конце трюма, у кормы, лежала последняя погрузка.

Это были кожи, которые взяли в устье, в последний день, сырые и выделанные кое-как, с остатками мездры и шерсти, и в жаре они гнили. Их сложили в угол, подальше от прочего товара, чтоб не портили, и вонь от них шла такая, что матросы, спускаясь в трюм, ругались и зажимали носы. Туда не ходил никто. Даже крысы, мне казалось, ходили туда неохотно.

Я спросил у кормчего, можно ли мне спать там.

Он поглядел на меня, как глядят на дурачка, и спросил, на кой мне это.

Я сказал, что наверху мне печёт голову и что я всю жизнь при складах, а склад всегда воняет, и мне к воню не привыкать.

Он засмеялся и сказал, что спи хоть в бочке.

И я перенёс туда своё одеяло и лёг в ту же ночь, и лежал, дыша ртом, и с первой минуты знал, что выбрал правильно.

Вонь стерегла меня, как стерёг когда-то чан с потрохами в первом городе. Тогда за весь год меня не тронул никто, потому что туда, где воняет, по доброй воле не ходит никто. Так и тут. Между мною и всем остальным судном лежала стена из гнилых кож, которую видели все и которую никто не хотел переступать.

А раз никто не хотел, я мог нажать кнопку.

Я и нажал, впервые за месяц, и лежал, слушая, как скрипит обшивка, и уснул почти спокойно, как не спал с самого берега.

Гасил я его до рассвета, ещё лёжа, и проверял, как привык, четыре раза: раз лёжа, раз сидя, раз на трапе и раз на палубе.

Так прошла неделя.

Мы зашли в первый порт после того, как я перебрался, — рыбачий городок на скалах, где брали воду и вяленую рыбу. Потом во второй — крепость на мысу, где корабельщик долго ругался со сборщиком пошлины. Потом в третий, большой, с длинным молотом, где сошли двое торговцев и село трое новых. Корабельщик всякий раз пересчитывал нас по дощечке, и всякий раз, когда он выкликал моё имя, я отзывался из угла с гнилыми кожами, и матросы смеялись, что старик живёт в навозе.

Чайка смеялся вместе со всеми.

Только раз, на второй стоянке, я поймал на себе его взгляд, когда сам он не смеялся. Он глядел на угол, где я спал, долго, прищурившись, как глядят на дорогу, по которой завтра идти.

Я понял, что он тоже считает, и что счёт его переменялся. Прежде старик спал среди людей, и взять его можно было в любую качку. Теперь старик спал один, в вонючем углу, куда никто не ходит. И взять его там было даже проще: никто не услышит, никто не увидит, и тащить до борта ближе.

Он, надо думать, решил, что старик ему помог.

После третьего порта пошла непогода.

Сперва задул ветер с моря, тяжёлый и тёплый, и море стало серым, и по нему пошли длинные валы без пены. Корабельщик глядел на небо и бранился. К вечеру ветер окреп, и судно стало ложиться на бок так, что в трюме тюки сползали и подпирали друг друга со стоном. Ночью ударил дождь.

Попутчики посыпались с палубы вниз, мокрые, и набились в проход, и всех рвало, и меня бы рвало тоже, если бы я за месяц не привык. Наверху кричали матросы, хлопал парус, который

никак не могли убрать, и время от времени через палубу перекачивалась вода и лилась в трюм через люк.

Я лежал в своём углу, на мокрых вонючих кожах, и знал, что это та ночь.

Кнопку я нажал, как только лёг.

Я лежал на спине, а не на боку, руки положил вдоль тела, левую поверх одеяла, чтобы до неё дотянулась всякая рука, которая станет искать горло или пояс. Глаза держал закрытыми и дышал так, как дышит спящий старик, — тяжело, со свистом.

Ждать пришлось долго.

Я считал удары волн в борт, чтобы не уснуть по-настоящему, и досчитал до нескольких сотен и сбивался, и начинал снова. Время на воде в темноте идёт иначе, чем на земле, и я не мог потом сказать, сколько его прошло, — час или три.

Потом у люка показался свет.

Это был фонарь, и его прикрывали ладонью, так что свет шёл только вниз, узкой полосой, на ступени трапа. Наверху держали фонарь и не спускались.

По трапу кто-то спустился.

Шёл он тяжело, но тихо, насколько тихо может идти по мокрым ступеням здоровый человек в качку, и я слышал, как он перешагивает через спящих в проходе, не задевая их, и как идёт дальше, к корме, по тюкам, и как остановился в двух шагах от меня, у края гнилых кож, и как постоял, дыша ртом, потому что вонь была страшная.

Потом он опустил на колени.

Я почувствовал это по тому, как прогнулись кожи у меня под боком.

Он не стал шарить. Он знал, где у меня пояс, и знал, где горло, и сделал всё разом, как делает человек, который делал это не впервые: одна рука легла мне на горло, широко, сжимая, чтоб я не крикнул, а другая на пояс.

И он упал.

Он упал на меня всей тяжестью, как падает мешок с телеги, и придавил мне грудь так, что я не мог вздохнуть. Разряд прошёл через меня от кисти до самого сердца — короткая злая боль, от которой сводит зубы, и всё. В первые годы на этой планете меня после разряда валило с ног, темнело в глазах, руку отнимало до плеча. Тогда я был голоден, худ и измучен. Теперь я был сыт, и от разряда осталась одна боль, и боль эта прошла раньше, чем я успел её как следует почувствовать.

Я лежал под ним и не шевелился.

Сверху, от люка, позвали шёпотом, сквозь шум воды:

— Ну? Бык. Ну что ты там?

Бык не ответил. Бык лежал у меня на груди лицом в одеяло и был уже ничей.

Наверху подождали. Потом свет качнулся, и по трапу спустился второй, и пошёл ко мне, держа фонарь перед собой.

Я открыл глаза.

Чайка остановился шагах в трёх, у края кож, и поднял фонарь, и увидел то, что увидел: Быка, лежащего на старике поперёк, мёртвого, и старика под ним — живого, с открытыми глазами, глядящего на него.

Он не закричал. Надо отдать ему должное: он не закричал, хотя лицо у него стало белым, как известь, даже при этом свете. Он смотрел на меня, а я на него, и ни один из нас не сказал ни слова.

Я думал в ту минуту только об одном: чтобы он меня не тронул.

Кольцо было включено. Сунься он стащить с меня Быка за плечо и задень при этом мою руку — и к утру в вонючем углу лежали бы два мёртвых матроса и один живой старик. А двоих мёртвых матросов в углу у попутчика не спишет никакое море.

Он не тронул.

Он присел и потянул Быка за ноги, за сапоги, — и стащил его с меня так, что Бык съехал по кожанам вниз, в проход, и лёг лицом вверх. Лицо у Быка было спокойное и удивлённое, как у всех них. Ни раны, ни крови. Чайка поднёс фонарь к самому этому лицу, потрогал его пальцами, потом приложил ладонь к груди и подержал. И отдёргнул руку, как от горячего.

Потом он посмотрел на меня снова, и в лице у него было уже не удивление, а страх, тот самый, который я видел когда-то у разбойника в овражине. Он не понимал, что случилось. Он понимал только, что его товарищ взялся за меня руками и умер.

Я лежал и молчал.

Говорить было нечего, а всякое моё слово могло только помешать ему сделать то, что он сейчас сделает. А сделать он мог одно, и я знал, что он это сделает, потому что ему, как и мне, деваться было некуда.

Он не мог оставить Быка здесь.

Найдут утром мёртвого матроса в трюме, в углу у попутчика, — и спросят, что матрос делал ночью в углу у попутчика. Спросят у всех, и у старика спросят, и старик скажет, а не скажет, так все и без него знают, что Бык ходил за Чайкой, как пёс. И корабельщик, который вешает за воровство у попутчиков, станет искать, чей это был пёс.

Чайка встал, поставил фонарь на тюк, взял Быка под мышки и потащил.

Тащил он долго. Бык был тяжёл, а трап крутой и мокрый, и судно валилось с боку на бок, и дважды Бык срывался у него из рук и съезжал вниз. В проходе кто-то из попутчиков заворочался и спросил сквозь сон, что там, и Чайка сказал, что матроса укачало, тащу наверх отдышаться, и попутчик опять уснул. На палубе в ту ночь было не до двоих матросов у трапа: там убрали парус и кричали.

Потом свет ушёл, люк хлопнул, и больше я ничего не слышал, кроме шторма.

Я лежал до рассвета с открытыми глазами и кольцо не гасил, потому что Чайка мог вернуться. Не с руками — руками он больше не полезет, — а с ножом, которому кольцо не помеха. Но я считал, что не вернётся, и считал правильно: нож оставляет рану, рана — это убийство, а убийство попутчика на судне — это то самое, от чего он только что уволок Быка.

Перед рассветом я погасил кольцо и проверил четыре раза.

К утру шторм стал уходить. Ветер упал, дождь кончился, и море, ещё злое, сделалось светлее. Корабельщик выкликнул команду, как выкликал всякое утро после непогоды, и Быка не оказалось.

Искали недолго. Обошли палубу, заглянули в трюм, покричали на носу. Кто-то вспомнил, что видел ночью, как Бык выходил на палубу, кто-то — что его, кажется, мутило. Корабельщик постоял у борта, поглядел на воду, сказал, что смыло, и велел вычеркнуть.

Его и вычеркнули. Корабельщик провёл чертой по дощечке, и Быка не стало ни на судне, ни в списке.

Матросы поговорили о нём до полудня, а к вечеру уже не говорили. Сом сидел у борта и долго глядел туда, где шли за кормой валы, и ничего не сказал.

А я сидел у другого борта и думал, что море и правда прощает.

Неделю назад я смотрел, как за борт уходит человек с кашлем, и отложил в уме, что море не спрашивает ничего. А сегодня оно не спросило и про того, кто полез ночью к старику за поясом и лёг на старике мёртвым. Взяло, сомкнулось, и через час на палубе говорили уже о ветре.

Он был девятый.

Я сосчитал это так же, как считал всё, и счёт меня не тронул. Восемерых я оставил на суше, кого в овражине, кого в овраге, кого под льдом. Девятый ушёл в море, и моря я не знал, а оно, как выяснилось, знало меня лучше, чем суша.

Вечером, когда стемнело и попутчики разлеглись на палубе, ко мне подсел Чайка.

Он сел не рядом, а в двух шагах, у самого борта, и сидел долго, глядя на воду, и я тоже глядел на воду. Было слышно, как на носу кто-то поёт.

Потом он сказал негромко, не поворачивая головы:

— Я видел.

Я помолчал и ответил так же негромко:

— А я видел, зачем ты пришёл.

Глава 3. Ровный счёт

Мы сидели так ещё долго, и он молчал, и я молчал, и на носу допели песню и начали другую.

Потом он спросил:

— Что ты с ним сделал?

Голос у него был не злой. Злость была бы проще. Голос был такой, каким спрашивают дорогу в незнакомом лесу, когда уже стемнело.

Я не ответил.

Отвечать было нельзя, и я это знал твёрдо. Всякий ответ на такой вопрос — это рассказ, а всякий рассказ можно потом пересказать. Не ответив, я не сказал ему ничего, и ему нечего было бы пересказывать, даже если бы он захотел. А то, чего не сказали, человек достраивает сам, и достраивает всегда так, как ему удобнее.

Он и стал достраивать.

— Он за горло тебя взял, — сказал он медленно, будто считал вслух. — Я видел, как он руку протянул. И лёг. Сразу. Даже не дёрнулся.

Он помолчал.

— Это у тебя на платье, — сказал он. — Да? У тебя платье травленое.

Я опять ничего не сказал.

— У нас так делают, — сказал он, и голос у него стал тише. — У нас, в городе. Я слышал. Рубаху травят, или перчатки, или пояс. Наденет человек — и к вечеру нет его. А ты, выходит, наоборот. Ты сам в травленном ходишь, а тебе ничего. Это как же?

Я поглядел на него и промолчал и на это, и он отвёл глаза первым.

Он сам себе всё объяснил, и объяснил так, что лучше я бы не придумал и за неделю. Не колдовство и не дурной глаз, а яд. Яд — вещь понятная. Яд можно купить, можно сварить, можно намазать. Отравителя боятся, отравителя жгут, но отравителя не нужно бояться так, как боятся колдуна, потому что колдун может всё, а у отравителя есть только его отравы. Колдуна ищут повсюду, отравителя ищут в его рукаве.

И вдобавок он сам теперь ни за что не тронул бы моего платья. Даже чтобы спасти мне жизнь.

Я отметил это с удовольствием, с каким отмечаешь, что лишний расход обошёлся тебе даром.

— Я никому не скажу, — сказал он вдруг.

— Знаю, — сказал я.

Он поглядел на меня, и я сказал ему то, ради чего, собственно, и сидел у борта, и сказал так же негромко и ровно, как говорил всё прочее:

— Ты ночью держал фонарь у люка, пока твой товарищ лез к попутчику за пояс. Корабельщик за это вешает. Ты скажешь про меня — я скажу про тебя. Меня, может, и сожгут. А тебя повесят раньше, потому что на море суда нет, а верёвка всегда при себе.

Он ничего не ответил. Да и что тут было отвечать.

Вот так у нас с ним и вышел ровный счёт.

Я сидел потом один и разбирал его, как разбирал когда-то складские ведомости, по строкам. Он знал про меня одно, а я про него — другое. Его одного хватило бы, чтобы меня сожгли. Моего хватило бы, чтобы его повесили. И ни один из нас не мог открыть рта, не открыв его заодно и на себя.

Это было не то же самое, что с Клещом.

Клещу я платил. Плата за молчание — это товар, а всякий товар портится, и я узнал это на своей шкуре: Клещ брал сперва пятьдесят, потом восемьдесят, а потом проболтался спяну,

хвастаясь, и молчание моё стало не моим. Плата растёт сама собой, потому что купленный каждый раз пробует, где его остановят. А этого я не покупал. Этого держала не моя плата, а его собственная петля, и петля эта не портилась и не дорожала, потому что сколько её ни пробуй, она всё та же.

Первый человек в этом мире, которого я держал не деньгами, а тем, что о нём знаю.

Я записал это себе в голову и записал отдельно, потому что понимал, что это стоит больше, чем всё, что я узнал за последний год.

А потом я стал считать, что с ним делать.

Считал я недолго, и счёт вышел простой.

Он был свидетель. Он видел, как человек взялся за меня руками и умер, — видел своими глазами, при свете, вблизи. Такого свидетеля не было у меня за все эти годы ни разу: разбойник в овражине, видевший, как легли двое, лёг вслед за ними сам; остальные не видели ничего. А этот видел и был жив. И объяснение, которое он себе нашёл, было удобным только до тех пор, пока он держал его при себе. Скажи он кому-нибудь про травленное платье — и платье с меня снимут, и найдут под ним то, что под ним лежит.

Значит, он должен был умереть.

Но не сейчас.

Сейчас было нельзя, и нельзя по той же причине, по какой нельзя было оставить Быка в трюме. На суше я убил бы его на другую же ночь, в любом переулке. А на судне второй покойник стал бы не вторым, а первым и вторым разом.

Моряки суеверны так, как не бывают суеверны ни мужики, ни купцы. За месяц я наслушался их разговоров достаточно, чтобы знать, во что они верят. Они верят, что бывают люди, которые приносят беду на судно. Сами они ничего не делают, и вины на них нет, а только с ними на борту то мачта треснет, то вода протухнет, то кто-нибудь пропадёт ночью. Таких высаживают в первом порту, а если порта нет — выбрасывают за борт, и считают это не убийством, а уборкой.

Один пропавший матрос в шторм — это море.

А второй, пропавший на той же неделе, — это уже вопрос, и первым делом спросят, кто на этом судне нехороший. И вспомнят старика, который спит один в гнилых кожах, не снимает пояса и не мылся месяц. И вспомнят, что Бык пропал в первую же бурную ночь после того, как старик ушёл спать в угол.

Я отложил Чайку, как откладывают долг, который всё равно взыщешь.

А пока его надо было держать при себе.

Он и сам этого хотел — я видел это в тот же вечер. Он боялся меня теперь так, как боялся раскалённого железа, и всё же не отходил, а держался неподалёку, как держатся у огня зимой: страшно, а уйти холодно. Человек, который один знает про другого страшную вещь, не может от этого другого уйти. Ему надо видеть, что тот делает, — иначе он не спит.

На другой день он подошёл ко мне снова и заговорил, будто ничего не было.

Он сказал, что знает город, куда мы идём, — родился там, вырос в гавани, там у него мать, если не померла, и двое братьев, если не повесили. Сказал, что северянину в этом городе одному никак: облапошат на первом же шагу, обворуют на втором, а на третьем продадут. Сказал, что может пособить: найти угол, где не обворуют, сказать, кому кланяться, а кого обходить.

Говорил он это, глядя мимо меня, на воду.

Я понимал, чего он хочет. Он хотел быть рядом с тем, кто держит его петлю, и хотел при этом, чтобы его петлю не затягивали, а для этого надо было стать полезным. И ещё он хотел, может быть, того, чего и сам себе не говорил: быть рядом с человеком, у которого есть золото и есть оружие, от которого умирают, не зная отчего. Такой человек — либо смерть, либо удача, а Чайка был из тех, кто всю жизнь ставит на удачу.

Я сказал, что подумую.

И подумал, и решил, что соглашусь. В городе, где я не знаю ни одного слова и ни одного человека, тот, кто там родился, стоит дороже, чем его опасность. А опасность его лежала у меня в руке, и я её отмерил.

Первую плату я взял с него сразу, не дожидаясь города.

Я велел ему учить меня их речи.

Не той, на которой говорят у него дома, — той, сказал он, мне и за год не взять, — а торговой, общей, на которой по всему югу говорят на причалах, на торгу и у менял, когда один не знает языка другого. Она была, по его словам, одна от последнего северного порта до самых дальних южных, и всякий грузчик в любой гавани знал на ней сотню слов, а всякий меняла — тысячу.

Учил он меня по вечерам, сидя в двух шагах, у борта, и учил неохотно, но толково. Я брал, как брал когда-то у Шура, по разрядам: сперва числа, потом деньги, меры и товар, потом то, что говорят, когда торгуются, — дорого, дешево, сколько, нет, возьми, отдай, — потом то, что говорят мытники и стража. Числа я взял в первый же вечер, как и тогда. Остальное складывал по ночам в своём углу, в столбцы, в темноте, как складывал когда-то в чулане.

Он удивился, как быстро это идёт, и сказал, что я, видать, не первый язык учу.

Я сказал, что третий.

Это была правда, и он не понял, что это правда, и засмеялся.

К концу пути я знал на торговом наречии слов триста и понимал, о чём торгуются на соседнем судне, когда мы стояли бок о бок в последнем порту. Говорить на нём я ещё не мог. Но я знал теперь то, чего не знал, садясь на это судно: второго первого года у меня на юге не будет. Немым я там буду не три месяца, а один.

Последние дни пути прошли тихо.

Я спал в своём углу, как прежде, и включал кольцо, как прежде, и Чайка больше ко мне ночью не спускался и никого не присылал. Днём он работал и шутил, как всегда, и рассказывал кому-то про Каменные острова уже в третий раз и уже по-третьему. Про Быка говорили всё меньше. Кашевар отдал его плوشку новичку, севшему в последнем порту, и на том Быка не стало совсем.

Только Сом однажды сказал при мне то, что я долго потом вертел в голове.

Он стоял у борта, глядя на воду, и я стоял неподалёку, и больше рядом никого не было. И он сказал, ни к кому не обращаясь, как говорят старики сами себе:

— Море берёт тех, кто к нему лезет.

Я не знал, видел ли он что-нибудь в ту ночь, или слышал, или просто знал Быка с Чайкой дольше меня и знал, на что они ходят. Спросить было нельзя: спросивший сам себе выдаёт, что есть о чём спрашивать. Я промолчал, и он промолчал, и больше мы с ним об этом не говорили ни разу, а через неделю я сошёл на берег, а он остался на судне, и я его больше не видел.

Но слова его я запомнил, потому что они были верные, и верные вдвойне. Бык полез и был взят. А я сам полез к морю, когда сел на это судно, и пока ещё не знал, что оно с меня возьмёт.

А потом берег переменялся.

Он стал белым.

Я не сразу понял, что вижу. Скалы, которые прежде были серые и бурые, сделались белыми, будто их вымазали известью, и деревья на них стали мелкими, серыми, с сухим мелким листом, и между ними не было травы, а была голая рыжая земля. Солнце стояло такое, что глазам было больно смотреть на воду, и даже по ночам теперь было жарко, а днём смола проступала на досках палубы и липла к ногам.

Мы шли вдоль этого берега два дня.

А на третий день утром, обогнув длинный низкий мыс, мы увидели город.

Он лежал по склону над бухтой, весь белый, ступенями, дом над домом, и крыши у домов были плоские, без скатов, будто их срезали ножом, и на крышах сохло бельё и сидели люди. Над домами стояли башни, тоже белые, и что-то вроде куполов, и всё это сверкало так, что смотреть на город было так же больно, как на воду. Внизу, у воды, тянулся длинный мол из тёсаного камня, и вдоль него и в самой бухте стояли суда — столько, сколько я не видел никогда и ни в одной гавани: большие и малые, пузатые, как наше, и длинные, узкие, с рядами вёсел, с парусами белыми, бурыми, полосатыми, с флагами, каких я не знал.

— Вот он, — сказал Чайка, стоявший рядом. — Белый город. Это ваши его так зовут, северяне. А по-нашему он иначе.

Он сказал как, но я не повторю: я не мог тогда выговорить этого слова, а потом не стал и учиться. Северяне звали его Белым городом, и я стал звать так же.

Мы входили в бухту полдня, медленно, на вёслах, и чем ближе подходили, тем громче становился город.

Это был не шум, а именно голос — тысяча голосов разом, как над торгом, только торг этот тянулся по всему берегу. Кричали с причалов, с лодок, с судов, кричали грузчики, кричали торговцы, кричали чайки над водой, и кричали на языках, которых я не слышал никогда. Я стоял у борта и слушал и насчитал за полчаса пять или шесть разных речей и сбился. На одних говорили гортанно, на других певуче, на третьих так быстро, что слова сливались в одно жужжание.

Чайка сказал, что тут говорят на двадцати языках, а может, и больше, и что никто этого толком не считал.

Я подумал, что посчитаю.

И ещё подумал, что в первый раз за все эти годы приплываю туда, где чужим буду не один я. В первом городе я был чужой и немой, во втором — чужой и говорящий с чужим выговором, и всякий слышал, что я не здешний, и всякий хотел знать, откуда. А тут, если Чайка не врал, чужими были все. Я стоял у борта, глядя на этот белый, кричащий на двадцати языках город, и мне было почти спокойно.

Почти — потому что спокойным я не бываю.

Мы встали у мола. Перекинули сходни. Корабельщик в последний раз выкликнул нас по дощечке, и я отозвался, и он поставил против моего имени какой-то знак и, не поглядев на меня, выкликнул следующего.

На мол мы сходили по одному.

Внизу, у сходней, стояли люди в белых длинных рубахах, с медными бляхами на груди, четверо, и при них двое с палками. Это были мытники: тут, как и везде, брали за вход, и брали со всякого, кто сходил на берег.

Только брали иначе, чем в воротах первого города.

Они не спрашивали, откуда ты и зачем. Они просто брали каждого, кто сходил, за плечи, поворачивали к себе и быстро, сноровисто, как хозяйка щупает курицу на торгу, обшаривали руками — бока, грудь, спину, а главное — пояс. Щупали пояс ладонями со всех сторон, и всякий раз, нащупав что-нибудь, останавливались и говорили что-то на своём языке, и человек лез за пазуху и платил.

Я стоял на сходнях четвёртым.

Кольцо было погашено с рассвета, и я проверил это ещё раз, через рукав, не опуская глаз.

А потом стоял и смотрел, как они щупают тех троих, что стояли передо мной, и считал, что они нащупают у меня.

Глава 4. Жара

Мытник взял меня за плечи, повернул к себе и провёл ладонями по бокам, по груди, по спине, а потом положил обе ладони мне на пояс и сжал.

Ладони у него были сухие и твёрдые, как дерево, и двигались быстро, как у человека, который делает это с утра до ночи всю жизнь. На поясе они остановились. Он нашупал монеты — не все, а то место, где лежали две отдельные, которые я оставил на дорогу, — и поднял на меня глаза и сказал одно слово.

Это слово я знал. Чайка научил меня ему на третий вечер: плати.

Я полез за пазуху и дал ему серебряную.

Он подержал её на ладони, взвесил, будто прикидывал, не мало ли, и сунул куда-то в рубаху. Пояс отпустил. Подтолкнул меня в плечо — иди — и взял за плечи следующего.

Вот и всё.

Я отошёл по молу шагов на двадцать, встал в тень у стены и только тогда перевёл дух.

В первом городе за вход с меня взяли четыре медяка и посмеялись. Тут взяли серебром и не посмеялись. Цена выросла вшестеро, а смеха не стало вовсе, и я подумал, что так и будет дальше: чем больше город, тем дороже вход и тем меньше в нём смешного.

Чайку я ждал до вечера.

Он сказал ещё на судне, где ждать: у фонтана в конце мола, где поят мулов. Сам он оставался на судне до расчёта, потому что матросу, который сходит на берег до расчёта, не платят ничего, а в этом порту путь судна кончался, и команду рассчитывали. Я сидел у фонтана на своей суме, в тени, и смотрел.

Первое, что я понял в тот день, — жара.

Я думал, что знаю, что такое жара. На судне последние две недели было жарко, и я считал это жарой. А на берегу солнце било не только сверху, но и снизу: от белого камня мола, от белых стен, от белой пыли поднимался такой зной, что воздух над камнем дрожал, как над костром. Камень жёг сквозь подошвы. Моё суконное платье, в котором я ушёл из второго города и которым гордился, как дурак, сделалось мне за час тяжелее кольчуги, и под ним текло ручьём.

Второе — руки.

Я сидел у фонтана полдня и не увидел ни одного человека с закрытыми руками. Грузчики на молу были голые по пояс, чёрные от солнца, блестящие от пота. Мужчины в городе ходили в рубахах до колен из тонкого полотна, без рукавов или с рукавами по локоть, а многие и вовсе в одной повязке на бёдрах. Тут не прятали рук: тут их выставляли, потому что под тканью руки сварились бы.

И рядом с ними сидел старик в сукне, у которого рукава были до самых пальцев.

На меня смотрели. Не много и не долго — тут на всех смотрели и всех тут же забывали, — но смотрели. Я был самое тёплое, что было на этом молу.

Я сидел, потел и считал, сколько дней смогу так проходить, пока на меня станут смотреть дольше.

А третье, что я понял в тот день, было хорошее, и я не сразу поверил, что оно хорошее.

У фонтана торговали водой. Водоносы ходили по молу с кожаными мехами за спиной и кричали, и к ним подходили люди и пили. И я заметил, что ни один человек не пьёт из кружки водоноса. У всякого была своя — у кого глиняная на шнурке у пояса, у кого медная, у кого деревянная, — и водонос наливал в неё, а не в свою. Один грузчик своей кружки не имел и пил из горсти.

Я спросил потом у Чайки, отчего так.

Он посмотрел на меня как на дурака.

— Да как же из чужой-то, — сказал он. — Из чужой и помереть недолго.

Тут боялись яда.

Боялись так, как в первом городе боялись мора, а во втором — пожара. Боялись все и всегда, и никто этого не стыдился. Никто не пил из чужой чашки, никто не ел у незнакомого, богатые держали при себе человека, который пробовал их еду прежде них, а на пирах, как сказал Чайка, гости приносили свои ножи и свои кубки.

Три года я прятал, что не пью и не ем из чужих рук. Три года эта моя привычка была самой приметной вещью во мне, приметнее выговора, и на свадьбе у Ставра двадцать человек запомнили старика, который не пьёт. А тут это было не привычкой, а порядком. Тут не пил из чужой чашки всякий грузчик.

Я сидел у фонтана со своей кружкой, которую возил с собой с первого города, и впервые на этой планете был такой же, как все.

Чайка пришёл к вечеру, весёлый и пьяный, с расчётом за пазухой.

Он сказал, что угол нашёл, и повёл меня наверх, в город, по улицам таким узким, что, раскинув руки, можно было достать обе стены. Улицы шли ступенями, вверх и вбок, и петляли, и я перестал понимать, где мы, на третьем повороте. Из домов не было видно ничего: дома стояли к улице глухими белыми стенами, без окон, с одной низкой дверью, и вся жизнь у них была внутри, во дворах.

Угол он нашёл у старого лодочного мастера, на полдороге от гавани к торгу.

Мастер был сухой, почти слепой и почти глухой старик, который всю жизнь строил лодки, а теперь сидел во дворе под навесом и вырезал вёсла. Он сдавал северянам каморку в углу двора, потому что северяне платят серебром и не дерутся. Каморка была крохотная, с земляным полом, с узкой щелью под потолком вместо окна и с дверью, которая выходила во двор. Двор был общий: в нём жили сам мастер, его сноха, какой-то родственник и куры.

Дверь запиралась на деревянную щеколду, которую открыл бы ребёнок.

На другой день я купил на торгу полосу железа, скобы и гвозди и поставил засов, как ставил всегда. Мастер посмотрел и ничего не сказал, а родственник посмеялся, что северянин от кур запирается.

Я заплатил за месяц вперёд серебром и в первую ночь лёг за засовом и нажал кнопку.

Спать в ту ночь, впрочем, было почти нельзя.

Каморка за день накалилась так, что к ночи в ней было как в печи, остывающей до утра. Воздух через щель под потолком не шёл. Я лежал голый на одеяле, обливаясь потом, и в первый раз за много месяцев снял с левой руки рукав и подставил её темноте. Кожа под кольцом прела и шла красными пятнами, как прела бы под любым тугим обручем в такую жару. Самому кольцу жара была нипочём, а мне — нет.

Только ночью, за засовом, я мог дать этой руке подышать. Днём ей предстояло потеть под рукавом всё время, что я проживу в этом городе.

Первые недели Чайка водил меня по городу.

Водил охотно, будто и правда был нанят, и показывал всё, что знал, а знал он город так, как знают его те, кто вырос в гавани, — снизу. Он показал мне мол и причалы, и где грузят зерно, а где масло, и где сидят перекупщики, а где вору. Показал рынки: рыбный у воды, где пахло так, что меня тянуло назад, к чанам первого города; хлебный выше; ряды, где торговали тканями и медью. Показал подворье северян — высокий двор за стеной, с воротами, где жили северные торговцы со своим товаром, со своими приказчиками и своими сторожами.

Туда я решил не ходить. Северяне знают северян. Северянин, которому некуда идти, первым делом идёт к своим, а свои первым делом спрашивают, откуда ты и чей. Я не собирался ни к кому идти первым делом.

Сам Чайка на новое судно наниматься не стал.

Он взял у старшего брата отцовскую лодку — плоскодонку на четыре весла, разохшуюся, но годную, — законопатил её за три дня и стал возить людей и мелкий товар с рейда на

берег: большие суда к молу не подходили, а вставали в бухте, и с них возили на лодках. Работа была, по его словам, хлебная, если не пропивать.

Он пропивал.

Я видел его теперь почти каждый день: то у лодки на молу, то на торгу, то у моего двора, куда он заходил будто между делом. Заходил ненадолго, говорил о пустяках и уходил, и я понимал, зачем он заходит. Он проверял, что я тут, что ничего не переменялось, что я не собираюсь ни уехать, ни умереть, ни заговорить. Так я по утрам проверял кнопку.

И я отмечал про себя то, что отмечал всякий раз, когда кто-нибудь узнавал обо мне новое. Чайка знал теперь, где я живу. Знал, где я ем, на каком торгу беру хлеб и у какого фонтана воду. Он знал обо мне больше любого человека в этом городе и знал первым. Его колонка росла.

Росла, впрочем, и моя колонка про него: я знал теперь его лодку, его брата и кабак, где он пропивает перевоз.

И он показал мне площадь.

Площадь была наверху, перед большим белым зданием с колоннами, где сидели городские судьи, и посреди неё стоял столб. Столб был чёрный снизу, до половины, и вокруг него камни мостовой тоже были чёрные, и сколько их ни мыли, чернота не сходила.

— Здесь отравителей жгут, — сказал Чайка. — Последнего на прошлой луне сожгли. Кашевар был у одного купца. Купец помер ночью, и всё. Поди докажи.

— Доказали? — спросил я.

— А то, — сказал он. — Он сам сознался. На третий день.

Я поглядел на столб и ничего не сказал.

Сознался на третий день. Я уже читал это однажды — в старой судейской записи во втором городе, о человеке, у которого от руки умерли двое и который отпирался, был допрошен и сознался. Там это называлось иначе, а суть была та же. Там умерший без раны означал, что рядом с ним был тот, у кого злая рука. Тут умерший без раны означал, что рядом был тот, у кого яд.

Яд или рука — костру всё равно.

Через неделю я увидел, как это делают.

Я не искал этого зрелища, но и не обходил: надо знать, как выглядит то, чего боишься. Жгли женщину — служанку, которая, как говорили, отравила хозяйку, — и я стоял в задних рядах и смотрел, а когда стало пахнуть, ушёл. Толпа была весёлая, как на празднике. Торговали лепёшками и водой.

Я шёл вниз по ступеням и раскладывал увиденное.

Тут у меня было то, чего не было ни в одном прежнем городе: никто не удивлялся, что я не пью из чужой чашки, и никто не спрашивал, откуда я, потому что тут все были откуда-нибудь. И было то, чего прежде не было тоже: всякая внезапная смерть была здесь не мором и не божьей волей, а отравлением, и за всяким отравлением искали отравителя, и искали всерьёз, и находили всегда — не того, так другого.

Здесь мне было легче жить и опаснее убивать.

Я отметил это и пошёл учить слова.

Слова шли быстро. Торговое наречие было устроено просто, как устроено всё, что придумано для того, чтобы торговаться: мало окончаний, много прямых слов и все числа. Я брал его так же, как брал язык первого города, по разрядам, но брал уже не как дитя, а как человек, который знает, как это делается. Днём я ходил по торгу и слушал, вечером повторял, ночью складывал в столбцы. Чайка поправлял меня и смеялся над выговором, а потом перестал смеяться, потому что выговор у меня тут никого не удивлял.

Через месяц я говорил на торгу всё, что нужно, чтобы купить, продать и не дать себя обмануть. Через два — понимал, о чём бранятся грузчики.

И ни разу за эти два месяца никто не спросил меня, откуда я.

Тут об этом не спрашивали. Тут на это смотрели — на выговор, на лицо, на платье — и решали сами, и решали всегда одно: с севера. Северян в городе было сотни, и я был одним из них. Вопрос откуда ты звучал здесь как вопрос, который час: его задают, когда больше не о чем говорить.

Оставались руки.

С руками надо было что-то решать, и решать скоро. Сукно я снял на второй же неделе — в нём бы я сварился — и купил себе две рубахи из тонкого белёного полотна, какие носят здесь все, но с рукавами до запястья, длинными и широкими, и велел швее пришить к ним ещё по ладони. Швея посмотрела на меня как на больного. И на торгу тоже посматривали: старик в длинных рукавах в такую жару — это было чудно.

Хуже рук были бани. Мылись тут часто и все, в общих банях при каждом квартале, и Чайка звал меня туда в первую же неделю и обиделся, что я не пошёл. Северянин, который не моется, был здесь грязнее грязного. Я мылся у себя, за засовом, из ведра, ночью, и никому этого не показывал.

Чудно — но не слишком, потому что длинные рукава тут всё-таки носили.

Я стал смотреть, кто их носит, и увидел скоро. Носили писцы в судейском здании на площади — в длинных тёмных одеждах до пят, с рукавами, в которых прятали свои перья и ножички. Носили жрецы при храмах. И носили менялы.

Менял в городе было много: у самой гавани, под полотняными навесами, тянулся целый ряд, где они сидели на скамьях за низкими столами, с весами, с камнями, с горками монет. Все они были в длинных широких одеждах, и рукава у них были такие, что в каждый можно было спрятать по курице. Чайка сказал, что в рукаве меняла держит свой пробный камень, свои гири, свои монеты, а то и записи, и что рукав для менялы — всё равно что карман для купца.

Я постоял у этого ряда полдня и понял, что выбор у меня, собственно, уже сделан.

В других местах ремесло выбирают по силе, по уму, по родне. Тут я выбирал его по рукаву.

А для этого мне нужны были здешние деньги.

Северное серебро, что у меня было, меняли везде, но меняли плохо, и с каждым разменом я терял. А золото моё лежало в поясе, и, чтобы сесть к менялам хоть на край скамьи, мне надо было сперва самому разменять у них хоть одну монету, посмотреть, как они это делают, и понять, на чём они наживаются.

Ночью, за засовом, я сел на одеяло, положил пояс на колени и стал распарывать шов.

Шил я его сам, во втором городе, перед уходом, и шил плотно, по монете в ячейку, чтоб не звенело. Я распорол три ячейки и вынул три золотых. Они были тёплые от тела и немного липкие от пота.

А вместе с третьей выпал ещё сложенный в несколько раз клочок.

Он был мягкий, как тряпка, и пятнистый от пота, и я не сразу понял, что это. Развернул его при свете маленькой плошки с маслом, которую купил на торгу, и поглядел.

На клочке было написано углём, неровно, моей рукой, тогдашней, неумелой, — имя и год.

Имя человека, которого во втором городе сожгли у реки за то, что рядом с ним умерли двое без раны.

Я и не помнил, что перешил его в новый пояс. Должно быть, перекладывал монеты из старого, не глядя, и переложил вместе с ними.

Глава 5. Меняла

Я долго сидел с этим клочком на колене.

Плошка коптила, в щель под потолком не шло ни ветерка, и уголь на клочке за год расплылся от пота, но имя читалось, и год читался. Человек, которого я никогда не видел и который ничего не сделал, кроме того, что дважды оказался рядом. Я выписал его имя во втором городе, сам не зная зачем, и год носил с собой, сам того не зная.

Выбросить его было бы разумно. Бумага, на которой стоит имя сожжённого за смерти без раны, — не та бумага, которую стоит носить на себе человеку вроде меня. Найди её кто, и спросит, зачем.

Я сложил его как было и зашил обратно, в ту же ячейку, на место третьей золотой.

Зачем — я опять не знал. Знал только, что этот клочок был единственной бумагой на свете, где про меня написана правда, хоть и не моим именем.

Наутро я пошёл менять.

Меняльный ряд тянулся вдоль гавани, от мола до рыбного торга, под полотняными навесами, натянутыми на шесты. Скамей было десятка три. На каждой сидел меняла, а перед ним стоял низкий стол, покрытый сукном, и на сукне лежало его ремесло: весы с медным коромыслом, ящик с гирьками, чёрный пробный камень величиной в ладонь, связка игл из разного золота, маленький напильник, нож, книга. И монеты. Монет было столько, сколько я не видел за всю свою жизнь на этой планете, — горками, столбиками, россыпью, медь, серебро, золото, круглые, квадратные, с дырой посередине, с профилями, со зверями, со знаками, новые, стёртые до гладкости и обрезанные по краю.

Я ходил вдоль этого ряда неделю, прежде чем сел к кому-нибудь из них.

Ходил и слушал, как я делаю всегда. Языка мне к тому времени уже хватало, чтоб понимать, о чём торгуются, а торговались тут обо всём. Я выслушал, почём здесь берут северное серебро и почём северное золото, и почём южное, и как разнится цена от скамьи к скамье, и где дают больше, а где обвешивают. Цену я сложил в голове к третьему дню. К пятому я знал, кто из менял сидит здесь давно, а кто недавно, кто богат, а кто прогорает, кто в цеху на хорошем счету, а кто нет.

Сел я к Ортану.

Он сидел в самом конце ряда, у мола, куда приставали северные суда, и северяне шли с судов прямо к нему, потому что он был ближе всех. Он был толст, стар и потел так, что держал на шее мокрую тряпку и менял её каждый час. На пальцах у него сидели перстни, глаза были маленькие и сонные, а голос густой, как масло. Он ленился вставать, ленился торговаться и ленился проверять, и всё, что мог, делал не вставая.

Я выбрал его не за это, а за то, что при лени он был жаден.

Лень и жадность в одном человеке — самое удобное, что может встретиться счётчику. Ленивому нужен тот, кто станет работать за него. Жадному нужен тот, кто станет работать дёшево. А тому, кто ленив и жаден разом, нужен тот, кто станет работать за него и дёшево, и такого он не отпустит, покуда тот не попросит много.

Я положил перед ним на сукно одну северную золотую и сказал, что хочу разменять.

Он поглядел на неё, взял двумя пальцами, повертел, потёр о камень, поглядел на полосу, которую она оставила, и сравнил её с полосой от одной из своих игл. Кивнул. Потом положил монету на одну чашку весов, а на другую, не глядя, поставил гирьку из ящика.

Чашка с монетой поднялась.

Он развёл руками и назвал цену. Цена была на шестую часть ниже той, что я сложил за неделю.

Я посмотрел на весы, потом на ящик с гирьками.

Гирька, которую он поставил, была не та. Я видел, откуда он её взял: из угла ящика, где лежали отдельно три гирьки, чуть темнее прочих. Он брал их не глядя, как берут вещь, которую берут всегда, и всякий раз, когда покупал золото, ставил их, а когда продавал — ставил другие.

Я ничего ему про это не сказал.

Я сказал другое. Я вынул из-за пазухи вторую золотую, такую же, северной чеканки, положил её рядом с первой и попросил его, чтобы не было обиды ни ему, ни мне, взвесить одну против другой. Монеты одной чеканки, сказал я, весят одинаково, а если нет, то я хочу знать, которая из них порчена.

Он посмотрел на меня.

Взвешивать монету против монеты было делом самым обыкновенным, этого не мог запретить никакой цеховой порядок, и делали это всякий день, когда покупатель боялся порченого. А только, положив две мои монеты на две чашки, он увидел бы, что они весят ровно, и тогда ему пришлось бы ставить против моей монеты уже свою гирьку, и всякий, кто стоял у его стола, увидел бы, что гирька легче монеты, которую она будто бы перевешивает.

Он не стал взвешивать. Он вздохнул, взял тёмную гирьку с чашки, положил её обратно в угол ящика и поставил другую, светлую. Чашки встали ровно.

И назвал цену, ту самую, которую я сложил.

Тогда я сделал то, ради чего и затевал всё это, — то же, что сделал когда-то во втором городе с приказчиком обоза, когда нашёл у него недостачу в семь мешков. Показал, что вижу, и тут же показал, что не вижу ничего.

— Весы у тебя хорошие, — сказал я. — Это гирька устала. Бывает. От жары, должно быть.

Он смотрел на меня долго своими сонными глазками, потом засмеялся, отсчитал мне здешнего серебра и спросил, давно ли я с севера.

Я сказал, что с осени.

Он спросил, чем я там жил.

Я сказал, что был счётчиком у купца, вёл приход и отпуск.

Он помолчал, вытер шею тряпкой и сказал, что северян в порту с каждым годом всё больше, а он их монеты знает плохо, потому что их у них три чеканки и все кривые, а северного письма не знает вовсе. А северяне ходят к нему со своими записками и расписками, и он не может прочесть, что ему дают, и всякий раз, когда не может, теряет.

— Посиди у меня с краю, — сказал он. — Посмотрю на тебя.

Я сел у него с краю на другой же день.

Плату он положил смешную, как я и ждал, — четыре северных серебряных в месяц по моему счёту, и сверху по малой доле с тех разменов, что я проведу с северянами сам. Я не торговался. Торговаться на первой работе значило бы показать, что я знаю себе цену, а мне надо было показать, что я знаю цену его гирькам, и этого он уже не забудет.

А ещё он дал мне старую одежду менялы, свою, которую давно не носил.

Это была длинная, до пят, рубаха из тёмного полотна, лёгкого, как паутина, с рукавами такими широкими, что каждый был мне как мешок. Она висела на мне, как на палке, и Орган посмеялся, что я в ней тону. Я надел её в первое же утро и больше не снимал.

Под этим рукавом можно было спрятать не то что кольцо, а голову.

И никто в этом городе не посмотрел бы на этот рукав ни разу: так ходили все менялы, от мола до рыбного торга, и рукав этот был у них не одеждой, а ремеслом. В нём держали камень, гирьки, иглы, мелкую монету, записки. Меняла, засунувший руку в рукав, не прячет её, а лезет в карман. Меняла, держащий руки в рукавах, когда нет покупателя, — просто меняла.

Три года я придумывал, как прятать руки. Тут мне выдали для этого одежду.

Дальше пошла работа, и она была мне по руке.

Северяне шли с судов к Органу, как шли к нему и прежде, а теперь на краю его скамьи сидел старик, который говорил с ними на их языке, знал их монету и читал их письмо. Я брал у

них северное серебро всех трёх чеканок и знал, какая из них легче и насколько. Я читал Органу их записки — расписки купцов, приказы контор, долговые письма, — и он слушал, вытирая шею, и кивал, и с каждой неделей кивал всё чаще.

Записки эти я понял не сразу, а когда понял, подивился, до чего умно они придуманы и до чего это, видно, старое дело.

Большой дом вроде Ведмаров не возит золото морем туда и обратно: золото тяжело, его крадут и топят. Купец сдаёт золото в контору дома в одном порту, а взамен получает записку, где сказано, сколько и кому, с печатью и рукой конторщика. С этой запиской он плывёт в другой порт, приходит в другую контору того же дома, и там ему по записке отдают его золото, удержав за услугу. Золото лежит на месте, а плывёт бумага.

Орган такие записки покупал — дешевле, у тех, кому деньги были нужны сразу, а не через неделю в конторе, — и после сам получал по ним полную цену. Дело было выгодное, если умеешь прочесть записку. Он не умел. Я умел.

И, глядя на эти записки, я понял ещё одно: дом, у которого их ходит так много, должен держать людей, которые сводят то, что выдали по записке в одном порту, с тем, что приняли в другом. Иначе подделывали бы все. Кто-то у Ведмаров сидел и сводил эти счета, как я сводил когда-то приход с отпуском у Ставра. Я отметил это мимоходом и не знал тогда, зачем отметил.

Пробному камню я выучился за неделю. Золото трут о чёрный камень, и оно оставляет на нём полосу, и полосу эту сравнивают с полосами от игл, у которых золото известно: чем полоса желтее, тем золото лучше. Обрезанную монету видно по краю, если знаешь, какой край у неё должен быть, а знать это можно, только перебрав их тысячу. Я перебирал.

Он вёл книгу, как ведёт её всякий меняла в цеху: крупные размены записывались в неё — кто, сколько, какой монетой, какого дня, — на случай спора и для цехового сбора. Записывал он сам, на своём письме. А северные имена писать не умел и путал. Через месяц он отдал мне северную половину книги: всё, что менял северянин, записывал я, моей рукой, моими буквами.

Я писал и думал, что это опять бумага, на которой стоит моя рука.

Но отказаться было нельзя, а через неделю я об этом и думать перестал: это было ремесло, а ремесло — вещь безопасная, покуда в нём ничего не случается.

А видно со скамьи было многое.

Я не сразу это понял, а когда понял, долго сидел, глядя на свои горки монет, и думал, что сорок шагов судна были ничто против этой скамьи.

Со скамьи было видно, у кого в городе деньги.

К меняле идёт всякий, у кого золото, потому что золотом не платят за хлеб, его надо разменять. Идёт и тот, кто собирается в дорогу, потому что в дальнюю дорогу берут золото, а не медь. Идёт тот, кто отдаёт долг, и тот, кто берёт в долг, и тот, кто продал товар, и тот, кто едет покупать. И каждый, разменивая, говорит. Говорит не потому, что болтлив, а потому, что так устроен размен: тут спорят о цене, а спорить о цене, не говоря, на что тебе деньги, нельзя.

Я сидел с краю скамьи, в своём тёмном рукаве, и знал к концу второго месяца, кто из северных купцов богат, а кто только делает вид; кто кому должен; чьё судно придёт на той неделе и с чем; кто продал выгодно, а кто прогорел; кто едет вглубь страны за товаром и сколько везёт.

Я знал, где в этом городе будут деньги завтра.

Скамья оказалась окуляром, через который виден весь город, — как виден в окуляр берег, когда он ещё за горизонтом.

И вместе с этим я понял то, что понял уже однажды во втором городе и что тогда мне ничего не принесло.

Знать, где деньги, и иметь их — разные вещи.

Во втором городе мой мальчишка с пристани узнал раньше всех про две барки с воском, я сказал Ставру, и Ставр взял на этом пять или шесть золотых. Знание было моё. Прибыль

была его. Потому что знание без рук не стоит ничего, а рук у меня не было, кроме своих, а свои мои годились только на то, чтобы держать доску.

Тут было то же. Я знал больше, чем Ортан, больше, чем любой меняла в этом ряду, и сидел на четырёх серебряных в месяц.

Я отложил эту мысль, как откладываю всё, но отложил недалеко.

А на исходе третьего месяца к скамье подошёл Тидрек.

Я знал его в лицо и прежде: он приходил к Ортану дважды, но я тогда ещё не сидел с северянами. Он был фактор дома Ведмаров — большого южного торгового дома, у которого были конторы по всему этому побережью, и вглубь страны, и, как говорили, даже на севере, в устье той самой реки, по которой я спустился к морю. Сам Тидрек был северянин: дом брал на службу северян, чтобы торговать с северянами. Лет ему было за сорок, был он плотный, красный от солнца и от вина, с маленьким жёстким ртом, и за ним по ряду ходила слава человека, который удавится за медяк.

Он сел на скамью и выложил на сукно тяжёлый кошель, и, увидев, что я северянин, обрадовался и заговорил со мной по-нашему.

Он менял тридцать северных золотых на южное золото.

Это был самый большой размен, какой я видел у этой скамьи, и Ортан даже проснулся. Тидрек объяснил, не дожидаясь вопроса, как объясняют все у менялы: вглубь страны, за три дня пути, у дома был поставщик красильного корня, и поставщик этот брал только своё, южное, а северного не брал, хоть ты его озолоти. Расчёт был весной, пока не встала большая жара, и Тидрек вёз его сам.

Я взвешивал, считал и записывал в книгу его имя, сумму и монету.

— Один повезёшь? — спросил Ортан, вытирая шею.

— А с кем, — сказал Тидрек. — Охрана — деньги. Двое конных с меня запросили столько, что я их на смех поднял. А дорога у нас тихая, я по ней десять лет езжу.

И сказал, что выедет на муле в четвёртый день, с рассветом, по жаре до полудня, а там отдохнёт у колодца и дальше.

Я дописал строку, присыпал её песком и поднял голову.

Тидрек ссыпал южное золото в кошель, завязал его, сунул за пазуху и похлопал по пазухе ладонью, как хлопают по спине доброго коня. А я сидел и думал, что впервые с тех пор, как ушёл со второго двора, знаю, где будут тридцать золотых через четыре дня.

И что дорога вглубь страны — это дорога.

Глава 6. Немой

Тидрек ушёл, а я до вечера сидел на своём краю скамьи, взвешивал чужое серебро, записывал чужие имена и считал своё.

Считал я не золото, а дорогу.

Дорога вглубь страны начиналась у верхних ворот и шла сперва между садами, потом по сухим холмам, мимо родников, где горожане в жару спасались от зноя, потом мимо деревень, потом пустым местом до первого колодца. Эту дорогу я знал по разговорам: по ней ездили к поставщикам, по ней гнали скот, по ней ходили на богомолье. Я слышал о ней со скамьи за три месяца раз двадцать и сложил её в голове, как складывал всё.

А сложив, увидел, что на этой дороге меня не хватает.

Не ума и не расчёта. Меня самого.

Старик, который выходит из верхних ворот один, пешком, налегке, в жару, и идёт куда-то за родники, — это приметно. Тут в жару не ходят. Тут в жару сидят в тени до вечера, а кто идёт, тот идёт по делу и с поклажей, а кто стар, тот едет на осле и при слуге. Одинокий старик на пустой дороге в полдень — это вопрос, а вопросов я не любил.

И ещё одно. Мне шёл пятьдесят четвёртый год. В жару я проходил по этой дороге, если считать честно, вёрст десять, а потом мне самому нужна была бы тень и вода, и нести её было бы некому.

Мне нужны были руки.

Я думал об этом и прежде — думал ещё во втором городе, у остывшего очага, когда понял, что кольцо не достаёт до тех, кто не подходит. Тогда я сказал себе, что человеку вроде меня нужны либо друзья, которых не бывает, либо люди, которым платят. И заплатил Клещу, и Клещ кончился тем, чем кончился.

Человек, которому платят, всё видит и всё помнит, а потом начинает говорить.

Значит, нужен был человек, который будет видеть, но не сможет сказать.

Я знал, где такой стоит. Я видел его со скамьи каждое утро три месяца.

От меняльного ряда до причалов, где нанимали грузчиков, было шагов сто, и по утрам, ещё до того, как Ортан разлепит глаза, я смотрел, как идёт наём. Там всё было так же, как в первом городе, у складов, куда я когда-то ходил три утра подряд и где меня не взял никто. На рассвете на причале собирались человек сорок или пятьдесят. Выходил приказчик, становился на ящик и выкрикивал, сколько ему нужно и на что, и тыкал пальцем, и тот, в кого он ткнул, шёл за ним. Брели молодых и широких. Приказчик кричал — и человек, услышав своё, кидался вперёд, потому что кто не успел, тот не взят.

А один не кидался никогда.

Он был выше всех на причале на голову и шире любых двоих: лет тридцати, с огромными плечами, с ручищами, как у кузнеца, с тяжёлым тупым лицом. Таких берут первыми. А его не брали. Он стоял каждое утро в толпе, глядя на приказчика, и, когда приказчик кричал, не двигался, а когда другие кидались, оглядывался на них, будто не понимая, отчего они побежали. Его толкали. Над ним смеялись. Однажды мальчишка-водонос подкрался сзади и крикнул ему прямо в ухо, и он не обернулся, и весь причал хохотал.

Он не слышал.

Я понял это на вторую неделю, а на третью понял, что он и не говорит: когда к нему обращались, он мычал и показывал руками.

Глухонемой.

Такого не берут, потому что ему нельзя крикнуть, а грузчик без крика не грузчик: подай, держи, бросай, назад. Его брали иногда, когда людей не хватало, на самую тупую работу —

таскать камень для мола, — и платили, сколько не жалко. А больше он стоял на причале до полудня, и к полудню уходил, и где-то спал, и где-то ел, и приходил назавтра.

Я смотрел на него три месяца и не думал о нём ничего, как не думают о столбе у причала. А теперь подумал, и всё сложилось разом, как складывается в голове ряд чисел, когда наконец видишь, что он кратен.

Он не слышит — значит, при нём можно говорить, а он не узнает, о чём.

Он не говорит — значит, всё, что он увидит, останется в нём.

Он не умеет писать — это я понял по тому, как он показывал руками, а не чертил на земле, как чертит тот, кто знает знаки.

И его не берёт никто — значит, тот, кто возьмёт, будет для него не хозяином, а всем.

Я знал это не по слухам. Я сам был немой три месяца в первом городе и помнил это так, как помнят ожог. Немой не торгуется, потому что торговаться нечем. Не жалуется, потому что жаловаться некому и нечем. Не сговаривается с другими, потому что сговариваться нечем вдвойне. Немому платят, сколько дадут, и он берёт и благодарен, и это не доброта его, а расчёт мира, в котором он живёт.

Меня тогда взяли на рыбные потроха ровно за это.

Теперь я сам стоял на месте того, кто берёт.

Я пошёл на причал на другой день до рассвета, когда Ортан ещё спал у себя дома, а меняльный ряд стоял пустой, с убранными столами.

Наём уже начинался. Приказчик стоял на своём ящике и кричал, люди кидались, и глухонемой стоял, как всегда, в толпе и глядел. Я прошёл через толпу, мимо локтей и спин, и встал перед ним.

Он поглядел на меня сверху вниз. Глаза у него были светлые, мутноватые, как у телёнка, и смотрели без страха и без надежды, как смотрит скотина на нового человека в загоне.

Я не стал ничего говорить. Говорить было бесполезно.

Я поднял руку, поднёс горсть ко рту, будто ем, — еда. Потом показал на него. Потом показал два пальца и поднёс горсть ко рту дважды — два раза в день. Потом положил ладонь плашмя на воздух у груди, будто ложусь, и показал на себя — место, у меня. Потом вынул из рукава три медяка и показал ему на ладони, и показал на солнце, и провёл рукой по небу от края до края — каждый день.

Он смотрел на мои руки так, как смотрят на чудо.

Я знал, отчего он так смотрит. Со мной самим в первом городе никто не говорил руками. Со мной говорили громко и медленно, как с дурачком, а когда я не понимал, махали рукой и отворачивались. Никто ни разу не потрудился показать. А этот старик в одежде менялы показывал ему, и показывал так, как показывает тот, кто сам говорил на этом языке.

Я и говорил на нём. Три месяца, на потрохах и на торгу, пока Щур не научил меня первым словам. Руки помнили.

Он поглядел на медь, потом на меня, потом опять на медь. Потом кивнул — медленно, всей головой, — и пошёл за мной.

Так у меня стало двое рук.

Я привёл его во двор к лодочному мастеру и показал место у своей двери, под навесом, где он будет спать. Мастер, полуслепой, поглядел в его сторону, увидел только большое пятно и спросил, что это. Я сказал, что слуга. Мастер сказал, что слуга так слуга, лишь бы не воровал кур. Родственник засмеялся, что северянин от кур запирается, а теперь ещё и быка завёл.

Спать он лёг поперёк моего порога, на подстилке из мешковины, и всякий, кто захотел бы ночью войти ко мне, сперва должен был бы перешагнуть через него. Это было лучше засова. Засов можно выломать тихо, а через эту гору тихо не перешагнёшь.

Я покормил его в тот же вечер — хлебом, рыбой и луком, — и он ел так, как едят те, кто не ел досыта никогда: быстро, низко склонившись над миской, загоразивая её плечом.

А потом, пока он ел, я его разглядел.

Он был одет в рваную рубаху, и рубаха задралась, когда он нагнулся, и я увидел его спину. Спина была вся в старых рубцах — белых, перекрещенных, давних, — какие оставляет плеть, если бьют не раз и не два, а годами. А когда он сел и вытянул ноги, я увидел и щиколотки. На обеих щиколотках шли кругом гладкие белые полосы, будто кожа там когда-то стёрлась до мяса, а потом заросла.

Я знал, что это такое. Я видел эти полосы на причале у других — у тех, кто сидел на длинных узких судах с рядами вёсел, что стояли в бухте. На таких судах гребут прикованными. Гребут колодники и купленные люди, и прикованы они к скамьям цепью за ногу, и снимают цепь только мёртвым.

А ладони у него, когда он взял миску, были такие, какие бывают только у гребцов: твёрдые, как копыто, с мозолями поперёк.

Он был с вёсел.

А раз он стоял на причале свободный, то цепь с него сняли не мёртвому. Может, судно потонуло, и он выплыл. Может, его продали и отпустили. А может, он сам ушёл, и тогда хозяин судна, найдя его, надел бы на него цепь обратно, а то и сделал бы с ним то, что делают с беглыми.

Спрашивать его об этом было нельзя, да и нечем. Но мне и не надо было спрашивать.

У него была своя петля. Как у Чайки.

Я записал это себе в его колонку, рядом с тем, что он не слышит, не говорит и не пишет, и колонка вышла такая, какой не было ни у кого из людей, что знали меня на этой планете. Он не мог рассказать, что видел. А если бы как-нибудь и смог — рассказав, он сам полез бы обратно в цепь.

Назвал я его Немым.

Имени его я не знал и узнать не мог: если оно у него и было, то осталось там, откуда он пришёл. А как-то звать его было надо, хотя бы про себя. Торговка у хлебного ряда в первом городе звала меня немым, и это прозвище было у меня первым здешним. Теперь я отдал его дальше.

Чайка увидел его на другой же день.

Он зашёл, как заходил всегда, будто между делом, и остановился в воротах двора, увидев у моей двери эту гору. Немой сидел на корточках и чинил свою рубаху моей иглой, и игла в его пальцах была как соломинка.

— Это что? — спросил Чайка.

— Слуга, — сказал я.

— Он же глухой. Его весь причал знает. Он же ни слова не скажет.

— Того и держу, — сказал я.

Чайка посмотрел на меня, потом на Немого, и я увидел, как он считает. Считал он недолго и правильно. До сих пор он был при мне один: проводник, учитель речи, человек, который знает, где я живу и что у меня на платье. Он был мне нужен, и он это знал, и на этом держалось его спокойствие, потому что нужного не трогают. А теперь у старика были другие руки, втрое сильнее его собственных, и руки эти не умели проговориться.

Он ничего больше не сказал. Посидел, поговорил о перевозе и ушёл.

А я записал в его колонку ещё одну строку: Чайка понял, что стал мне нужен меньше. Человек, который это понял, начинает думать либо о том, как стать нужным снова, либо о том, как обойтись без того, кому стал не нужен. И то и другое было мне не на руку.

В первые же два дня я начал учить Немого.

Учил так, как учат собаку, потому что иначе с ним было нельзя, и учил одному, но крепко. Левую руку не трогать.

Я показывал ему: брал его ладонь, подносил к своему правому плечу и кивал — можно. Подносил к правой руке — можно. А потом подносил к левой, к запястью, к рукаву, — и качал

головой и отводил его руку, сильно, и снова качал головой. И так раз двадцать, и на другой день ещё двадцать. Кольцо, понятное дело, было погашено, а я проверял его перед всяким таким уроком.

Он понял. Понял быстрее, чем я ждал, — видно, понимать запреты его выучили давно и плетью. На второй день к вечеру, когда я нарочно споткнулся во дворе, он подхватил меня под правую руку, а левую обошёл, будто она была горячая.

Я остался доволен.

И всё-таки я знал, что этого мало, и знал почему.

Запрет держится, пока человек помнит о нём. А помнит он, пока не случится чего-нибудь, от чего забудешь всё. Падающего ловят, не выбирая, за что схватить. Тонущего тащат за что придётся. Тот, кто испугался, хватается первое, что под рукой, а под рукой у него буду я. Шур в первом городе тоже знал, что меня нельзя дёргать за рукав, — и дёргал, двадцать раз на дню, потому что был ребёнком, и мне приходилось щупать кнопку всякий раз.

С этим будет то же, только реже.

Значит, правило моё оставалось прежнее, и ещё твёрже, чем было: днём кольцо погашено всегда, когда он рядом. Включаю только за засовом. Или там, где его рядом не будет.

На третий день, утром, я пошёл с ним вниз, к гавани, — показать ему, где ряд, и где скамья Ортана, и где ему стоять, пока я сижу.

Ступени, что ведут от нашей улицы к воде, были крутые и стёртые, как всё в этом городе, а у фонтана на середине спуска их всякое утро обливали водоносы, и камень там был мокрый и скользкий, как лёд. Я шёл первым. Он шёл за мной на шаг.

На мокром камне нога у меня поехала.

Я не успел ни ухватиться, ни подумать. Я только почувствовал, как меня повело вбок и вниз, на острые края ступеней, — и как сзади, разом, меня поймала его рука.

Она поймала меня за левое запястье.

Пальцы сомкнулись поверх рукава, крепко, как железо, ровно там, где под тканью лежало кольцо, и держали, покуда я не встал обеими ногами на сухое.

Я стоял на ступени и не дышал.

Кольцо было погашено. Я погасил его до рассвета, не вставая, и проверил, как всегда, четыре раза: лёжа, сидя, у двери и на улице. Я знал, что оно погашено. Но знать и помнить — разные вещи, и это я выучил однажды, на торгу в первом городе, когда мальчишка вцепился в моё запястье, а я не мог вспомнить, гасил ли.

Он отпустил меня и отступил на шаг и посмотрел — сперва на мою руку, потом на меня, — и лицо у него стало испуганное, как у собаки, которая сделала то, чего нельзя, и сама это поняла.

Я ничего ему не показал. Ни злости, ни прощения.

Я постоял, пока не прошло то, что подступило к горлу, и пошёл дальше вниз. А он шёл за мной, отстав уже не на шаг, а на два.

А на завтра был тот самый четвёртый день, о котором говорил Тидрек.

Глава 7. Старое ремесло

Жара в тот год пришла рано.

Так сказал Орган, вытирая шею, и так говорили на ряду все: обыкновенно большая жара встаёт в начале лета, а тут встала весной, и северяне, которых в городе были сотни, валились от неё, как мухи. Одни лежали пластом у себя в подворье, другие ходили с мокрыми тряпками на головах, третьи уходили за город, к родникам, и сидели там в тени до вечера, а то и ночевали, потому что под деревьями у воды было прохладнее, чем в каменных домах.

Мне это было на руку.

Накануне отъезда Тидрека я пришёл к скамье с утра и к полудню сказал Органу, что мне худо. Голова кружится, сказал я, в глазах темно, ноги не держат. Орган посмотрел на меня без жалости, но и без подозрения: северяне на второй весне тут все такие. Спросил, что я буду делать.

Я сказал, что пойду к родникам и полежу там день-другой.

Он махнул рукой и сказал, чтоб я не помер, потому что ему без меня северную книгу писать некому.

Это было почти всё, чего я от него хотел. Меняла, который разрешил тебе уйти к родникам, — это человек, который потом скажет, что ты ушёл к родникам. И скажет охотно, потому что сам тебя туда отпустил.

Под вечер я вышел из верхних ворот вместе с Немым.

Шли мы не одни. Из ворот в ту пору тянулся целый поток: семьи с детьми и кувшинами, старики на ослах, слуги с подстилками, водоносы с пустыми мехами. Все шли к родникам, ночевать в прохладе, и мы с Немым были в этом потоке так же незаметны, как две капли в ручье. Старик в одежде менялы и при нём слуга-великан с котомкой. Таких тут было много.

Стража у ворот на нас не посмотрела.

Родники были в часе ходьбы, в лощине между холмами, где из-под камней била вода и стояли старые деревья с широкими кронами. Там уже былолюдно: жгли маленькие костры, расстилали подстилки, ели, и пахло дымом, водой и потом. Я выбрал место с краю, под деревом, расстелил одеяло, лёг и пролежал так до темноты, и всякий, кто проходил мимо, видел больного северного старика, которого сморила жара.

Немой лёг в двух шагах. Он не спрашивал, зачем мы тут. Он не умел спрашивать.

Ночью я не спал и считал в последний раз.

Тидрек выедет на рассвете. На муле, по жаре, он пойдёт не быстро — вёрст пять в час, а то и меньше, потому что мул его, как я видел у скамьи, был старый и ленивый, под стать хозяину. Мимо родников он проедет, когда солнце поднимется на ладонь. А до колодца, где он собирался отдыхать, от родников было вёрст пятнадцать, и последние семь из них — пустое место: сухие холмы, без жилья, без воды, где днём не бывает никого, кроме козопасов.

Мне нужно было оказаться на этом пустом месте раньше него.

Я встал до рассвета, когда все у родников ещё спали, и толкнул Немого. Он поднялся сразу, будто и не спал. Я показал ему: идём. Мы взяли одеяло и котомку и ушли из лощины не по дороге, а тропой через холм, и вышли на дорогу уже за родниками, где нас никто не видел.

Дальше мы шли по дороге два часа, и солнце вставало у нас за спиной.

Место я выбрал по рассказам и выбрал верно. За вторым холмом дорога спускалась в сухую ложбину и делала поворот, и на самом повороте стояло одинокое дерево с тёмной кроной, а под ним была тень. Дальше, до самого колодца, не было ни дерева, ни камня в человеческий рост. Ложбина была пуста, сколько видел глаз. Звенели цикады, и больше ничего.

Я остановился у дерева и посмотрел на Немого.

Теперь мне надо было, чтобы его здесь не было. Не потому, что я его стыдился, — потому, что кольцо не разбирает, кого бить, а Немой хватал меня не выбирая, когда пугался.

Я показал ему рукой вниз по ложбине, туда, где в стороне от дороги темнела трещина оврага. Я слышал со скамьи, что там бьёт маленький родник, которым поят коз. Я показал на его мех, потом на овраг, потом поднёс горсть ко рту — вода. Потом показал, что жду здесь.

Он кивнул и пошёл. Ходу туда и обратно было не меньше часа.

Я подождал, пока его спина не скроется в овраге, и нажал кнопку.

А потом вышел на середину дороги, на самый поворот, и лёг в пыль.

Я лёг так же, как лёг однажды, давно, на другой дороге, в свой первый день среди людей. Тогда я был голый, немой и битый, и на мне не было ничего, кроме кольца. Тогда я лежал, чтобы взять с человека одежду. Теперь на мне была одежда менялы, в поясе лежало золото, и я знал три языка, а лежал я точно так же, ничком, раскинув руки, и пыль так же забивалась в рот.

Старое ремесло. Оно не забылось.

Лежать пришлось долго.

Солнце поднималось и било в спину, и сквозь тонкое полотно оно жгло так, что через полчаса я и вправду стал тем, кого изображал: в голове у меня гудело, по лицу тёк пот и смешивался с пылью, и мухи садились на шею и на руки. Я не шевелился. Я считал удары сердца, как когда-то считал удары волн в борт, и сбивался, и начинал снова.

Пока лежал, я думал о том первом разе, на той дороге. Тогда я не знал, подойдёт ли он, и не знал, что будет, если подойдёт: кольцо я до того пробовал на звере, а на человеке ещё нет. Тогда я был никто, и узнать меня не мог никто. А теперь я лежал и ждал, что меня узнают, и рассчитывал на это. Вся разница между тем днём и этим уместилась в одно: тогда я ставил на то, что человек пожалеет чужого, а теперь — на то, что он пожалеет своего. Своего жалеют вернее.

Потом я услышал мула.

Он шёл неторопливо, цокая по камням, и с ним шёл человек — я слышал, как он понукает животное и как ругается на жару. Шаги остановились шагах в двадцати.

Человек не подходил долго.

Он был не дурак и знал, что на дорогах бывает. Человек, лежащий ничком на пустой дороге, — это либо больной, либо приманка, и за поворотом, в тени, могут сидеть те, кто его положил. Я слышал, как он тронул мула, как мул переступил, как человек сказал сам себе, тихо, по-нашему, по-северному, что-то бранное.

Потом он спешился.

Я слышал, как скрипнуло седло и как ноги его стукнули о землю. Он подошёл на несколько шагов и опять встал.

— Эй, — сказал он. — Эй, ты. Живой?

Я не ответил. Я лежал, как лежит человек, которого хватил солнечный удар, — тяжело, без движения, только дышал со свистом.

Он постоял ещё. Потом подошёл совсем близко, обошёл меня, и я почувствовал, как его тень легла мне на голову, — единственная тень на всей этой дороге.

— Ба, — сказал он, и голос у него переменился. — Да это ж ты. С Ортановой скамьи. Северянин.

Он узнал меня по одежде менялы и по лицу, которое увидел сбоку, в пыли.

И, узнав, перестал бояться. Это я и рассчитывал. Чужого старика на дороге можно и объехать, а своего, северного, с которым позавчера говорил на родном языке, не объедешь: он свой, а своему в чужой земле — помогать.

— Ах ты ж, дурень старый, — сказал он с досадой и почти с нежностью. — Чего тебя понесло-то. Солнце, что ли?

Он присел на корточки и взял меня за руку повыше кисти, чтобы перевернуть.

И умер.

Я почувствовал, как его пальцы разжались на моём запястье и как он завалился на меня боком и съехал в пыль. Разряд прошёл через меня от кисти до груди, злой и короткий, и ушёл, и я поморщился и полежал ещё немного, не открывая глаз, слушая.

Ложбина молчала. Цикады звенели, как звенели. Мул фыркнул и отошёл к краю дороги, где росла сухая колючая трава.

Я встал.

Тидрек лежал на боку, подвернув под себя руку, и лицо у него было спокойное и немного удивлённое, с открытым ртом, как у всех них. Красное от солнца лицо, маленький жёсткий рот. Человек, который удавился бы за медяк, а за тридцать золотых не дал двоим конным.

Я не стал на него смотреть дольше, чем нужно было, чтобы убедиться. Смотреть было некогда.

Кошель был у него за пазухой, там, где он похлопал по нему у скамьи, как по спине доброго коня. Я вынул его и развязал. Тридцать южных золотых, тех самых, что я сам отсчитывал ему позавчера, тяжёлых, с квадратным знаком.

Я взял десять.

Двадцать я оставил в кошеле, завязал его, как было, и сунул обратно ему за пазуху.

Я делал это не из скромности и не из страха перед жадностью. Я делал это потому, что мне был нужен не ограбленный, а умерший.

Ограбленного ищут. У ограбленного вывернуты карманы, разрезан пояс, нет кошель, нет мула. По ограбленному понятно, что был грабитель, и грабителя станут искать: кто ехал, кто шёл, кто видел. А у умершего всё на месте. Кошель за пазухой, мул у дороги, баклага с водой. Умерший просто умер: старый толстый человек, который поехал по жаре один, потому что пожалел денег на охрану, почувствовал себя худо, слез с мула, сел в тень и не встал.

Что в кошеле не тридцать, а двадцать, — это знали только трое: сам Тидрек, его дом и меняла, который менял.

Тогда, на дороге, я подумал о доме и о меняле так: кто бы ни нашёл тело, первым делом заглянет за пазуху. И если найдёт там двадцать золотых, а не тридцать, то подумают не на дорогу, а на того, кто нашёл.

Я подумал об этом и пошёл дальше. О книге Ортана я тогда не подумал.

Дальше было тяжело.

Тидрек был тяжёлый, вдвое тяжелее меня, и тащить его до дерева, шагов двадцать, мне пришлось долго, волоком, за подмышки, отдыхая. Я посадил его под деревом, спиной к стволу, в тень. Голову ему свесил на грудь, руки положил вдоль тела. Снял с мула его баклагу, отпил из неё немного воды — своя кружка была в котомке, но тут было не до неё, а баклага у мёртвого не отравлена, — вылил ещё половину ему на рубаху, будто он лил на себя от жары, и положил баклагу рядом, на землю, откупоренную.

Шапку его я нашёл на дороге — она слетела, когда он упал, — и положил ему на колени.

Мула я не тронул. Мул пасся у края дороги и пасся бы до вечера, пока его не найдут.

Потом я вернулся на дорогу и посмотрел на то место, где лежал.

Там остался след — продолговатая вмятина в пыли, и рядом ещё одна, и полосы оттого, что я его тащил. Я взял сухую ветку, какие валялись под деревом, и замёл, как умел. Дорогу эту к вечеру перетопчут козы, а к завтрашнему дню проедет ещё кто-нибудь, и на ней не останется ничего, кроме дороги.

Я посмотрел на всё это ещё раз — на тень под деревом, на сидящего в тени человека, на мула, на пустую белую ложбину — и нашёл, что это похоже на правду. Это и было правдой, почти. Человек сел в тень и помер. Только сел не сам.

Тогда я погасил кольцо.

И проверил четыре раза: раз стоя, раз сунув руку в рукав, раз пройдя десять шагов и ещё раз — увидев внизу, у оврага, Немого.

Он шёл обратно с полным мехом на плече, медленно, и смотрел под ноги, а когда поднял голову, то увидел.

Увидел дерево и человека под деревом, и мула, и меня на дороге.

Он остановился. Стоял он долго, и лицо у него было такое же тупое и спокойное, как всегда, только глаза он перевёл с меня на того, под деревом, и обратно, и ещё раз, будто считал.

Потом он подошёл и протянул мне мех.

Я взял, напился из своей кружки и отдал мех обратно.

Он не мог спросить, что это. Он не мог спросить, кто это и почему он сидит под деревом с открытым ртом. Он не мог потом никому сказать, что видел, как старик-северянин стоял на пустой дороге у мёртвого, потому что сказать ему было нечем, а написать — не на чем и не чем. И даже если бы смог, сказав, он полез бы обратно на свою скамью с цепью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.